

КАПИТАЛИСТ

Часть Первая

ГЛАВА 1

Мила

Ленинград, 1941г
21 Линия Васильевского острова
14 декабря, вечер

Под мостом лежали, сидели и даже стояли мёртвые люди. Неизвестно, как они туда попали - но со льда их было видно особенно хорошо, вплоть до лиц. Наверное, кто-то сволок под мост замёрзших за ночь со льда Невы, от прорубей - по крайней мере тех, кого не успело присыпать снегом, а остальные уже, кажется, спускались сами, то ли прячась от бомбёжек, то ли в поисках родных - да так и оставались навечно. Один мужчина полулежал, обхватив мёртвое тело - видно было, что он пришёл под мост не так давно, лицо его только начало темнеть, а вот тело, которое он сжимал в объятиях, лежало уже давненько и стало уж от мороза совсем чёрным. С другой стороны к покато́й стене привалилось сразу несколько несчастных, будто подпирая мост - а с самого краю сидела женщина, уронив голову на покрытую инеем телогрейку. Возле этой женщины стоял мальчик. И этот стоящий мальчик Милу напугал больше всего. Перед смертью он, видимо, пытался поднять сидящую женщину - да силёнок не хватило, и тогда он прислонился плечом и головою к своду моста - да так в него и вмёрз. Один его глаз теперь смотрел в небо, а другой закатился, заледенел. Миле казалось, что мальчик подслушивает, подсматривает - кто там ходит сверху, уж не за ним ли с матерью пришли, не им ли на помощь. Но люди сверху шли и шли мимо - кто куда. Одни умирать, другие выживать, каждый по-своему.

Миле вдруг отчаянно и невыразимо горячо захотелось пойти туда, под мост - и лечь рядом с ними, привалиться головой к холодным телам, обнять того мальчика, прижать к себе... Она даже свернула было с тропы, не чтобы лечь, а чтобы пройти поближе к ним, как будто бы тем самым немного их уважить, но потом вспомнила, что дома лежит мама, которой живая дочь гораздо нужнее, чем безмолвным мертвецам, а где-то за большой водой ждал фашист, который будет очень рад, если каждый ленинградец вмёрзнет в землю, и радовать эту сволочь она уж никак не хотела. Отвела, наконец, глаза от отстранённого, осунувшегося лица мёртвого мальчишки - и двинулась дальше, стараясь, чтобы драгоценное тепло от дыхания шло по большей части под воротник, согревая впалую не по возрасту грудь. рука нащупала в кармане пальто талоны, пальцы прошлились по ним, и тут же идти стало легче, приятнее.

Когда немец ещё не напал, когда только копошился у границ Союза тёмно-красным червём, Мила только начала взрослеть, но всем вокруг, и одноклассникам, и соседям,

и учителям уже было понятно, что растёт невероятная, редкая красавица. Но сейчас, всего за каких-то полгода войны и нескольких месяцев блокады - всё это куда-то подевалось, и она вновь стала нескладным ребёнком, разве что лицо её продолжало так же взростеть и глаза над воротником смотрели тяжело и устало. Не у всякой женщины такие глаза были, как у этой ещё девчонки.

Раньше они ходили стоять в очереди втроём - она, мама и тётя Надя с четвёртого этажа. Поначалу они ещё даже разговаривали по пути, обсуждали планы, рассказывали, кого и куда перевели. В очереди тоже охотно болтали с соседями, рассказывали, где и какие пайки можно получить. Мила с другими студентами тогда ходила копать противотанковые рвы, в которых теперь накрепко засел немец. Но когда установилась блокада - разговаривать стали меньше, потому что новостей стало очень много, да все плохие. Теперь же очередь почти всегда молчала. Люди хранили силы, и если кто-то спрашивал товарища, то тихо и аккуратно, склоняясь к самому лицу, и ответом иногда были не другие слова, а голодный взгляд или то хуже - просто отворачивались, отнимая локоть.

Очередь по утрам стояла длинная, словно та противотанковая траншея, которую они вырыли "бант-бригадой", как группу девчонок с лопатами прозвали солдаты. Сам магазин открывался в восемь, но люди просыпались от голода и страха гораздо раньше, по темноте сползались ко входу, выстраивались вдоль витрины и молча, покорно стояли, человека по 2-3 в ряд, поддерживая друг друга. Иногда шептались, придвигая лица близко-близко, будто герои с эрмитажевских картин, которые, как казалось школьнице Миле, когда их водили в музей, вечно о чём-нибудь сговаривались и строили заговоры против друг друга. Теперь тех картин в Эрмитаже уже не висело. Заговорщиков, мадмуазелей, барынь и холопов. царей и мушкетёров, опричников и императоров погрузили по вагонам - и увезли куда-то в глубь страны, где до них не дотянется своими грязными лапами фашист. Помнится, Ириночка, её сокурсница на первом году обучения, который у них так толком и не начался, очень зло об этом говорила. Она считала, что вывозить картины вперёд людей - грех, да и больше того - если бы эти картины оставить в городе, то немец и бомбить бы не стал, потому как немец народ аккуратный и к искусству снисходительный. Договорилась она и до того, что-де картинам никакой разницы нет, где висеть, в Эрмитаже или в Мюнхене, но тут уж Мила с ней не согласилась, и прямо спросила - неужто бы все те люди, будь они дворяне, крестьяне, цари или коммунисты, хотели бы, чтоб их картины присвоил себе враг, который Родину пожёт? Она не ответила, но губы поджала, из чего Мила сразу решила, что она несознательная. Позже догадки подтвердились - Иринку забрала с траншей матушка, служившая в больнице доктором, а после их с семьёй эвакуировали на Кавказ, и больше о ней Мила не слышала.

Иногда, во время утреннего стояния, сверху начинали гудеть фашисты, чаще - далеко, но иногда гудело совсем близко, и в таком случае очередь молчаливо, привычно, и будто бы боясь суеты, разбегалась в стороны, прижималась к стенам, бросалась в снег. Бомбили по утрам редко, педантичные немцы предпочитали бомбить аккуратно в семь часов вечера, а вот до обеда, бывало обстреливали. Говорили, что иногда фашист вылетал сбивать наших лётчиков, да не находил их - и тогда, перед возвратом на базу, они пролетали над городом и тратили боеприпас на гражданских, то ли надеясь, что зацепит кого из бывших тут солдат, то ли просто в бессильной злобе

стремясь поразить как можно больше представителей “низшей расы”. Фашисты били по улицам, поливали огнём дома над ними - и вниз сыпались осколки уцелевших ещё стёкол. Чем ближе была зима - тем меньше стёкол оставалось в домах. К декабрю весь Ленинград был забит уже фанерой. А когда самолёт улетал - люди вставали и вновь собирались в ту же самую очередь, молчаливо, степенно и жутко. Тогда же становились видны и выбитые бреши в очереди на местах тех, кто с земли уже не поднялся, и очередь затягивала эти раны, снова становилась лицами в спины. А враг летал уже над Большим проспектом - медленно и низко, и лил из пушек, и эхо от взрывов отдавалось меж домами, как будто бы стреляли вообще отовсюду и сразу во весь мир.

Однажды так не встала и тётя Надя с четвёртого этажа. Мила с мамой перевернули её на спину - думали, её ранило пулей. Но оказалось другое - пока тётя Надя убегала от пуль, она просто-напросто споткнулась и расшибла голову о кусок мрамора, лежавший под свежим снегом. Мила и сейчас помнила тот кусок - это был осколок бороды с морды какого-то древнего мужика, который, в свою очередь, был частью барельефа парадной. От бомбёжек лепнина сыпалась прямо на мостовые, и её никто, конечно, не убирал. Рана у тётки Нади была неглубокая, прямо над переносицей - но кровь уже успела залить всё лицо, и крупные мягкие куски влажно-красного снега налипли на тёплое ещё лицо и быстро таяли, смывая кровь, и становилось видно, что тётя Надя уже совсем бледная, даже серая. Снег был и во рту и в носу. Видимо, тётя Надя, ударившись, потеряла сознание, а потом просто скользнула с мрамора в недавно выпавший, рыхлый снег - да так в нём и задохнулась.

В тот день они получили хлеба и за себя, и за мёртвую тётю Надю, а сразу после пошли в жакт за тележкой и справкой для похорон и в четыре руки, по очереди то толкая, то волоча, свезли тётю Надю на Смоленское кладбище. Прямо на кладбище, уже над разрытой могилой, мама сняла с мёртвой соседки пальто - и буквально заставила Милу надеть его, уговаривая, что та была бы этому рада, а гробовщики ещё и похвалили вид Милы, сказав, что она теперь похожа на балерину Большого, которая ждёт таксо. Они явно льстили, ведь пальто было старенькое, с протёртыми локтями, и выглядело оно так, будто вот-вот порвётся, и от этой лести Миле вдруг стало так печально, что она расплакалась. Однако теперь Мила не могла не радоваться тому, насколько густой у этого пальто воротник, в котором так удобно было прятать обветренное лицо с шелушащейся кожей, всё покрытое мелкими цыпками и пятнышками от проступающих сосудов. На кладбище Миле запомнились ещё дворники, которые свлакивали неопознанные тела со всего города в братские могилы. Одну из умерших они волокли прямо за ноги, и голова её страшно стучала по ступенькам.

Тётю Надю они с мамой похоронили прямо так, без гроба. Древесина была в огромной цене. Поговаривали, что отчаявшиеся разрывали старые могилы и ломали гробы на дрова, однако Мила в это не верила. Раньше хоронили глубоко, не то, что сейчас. Попробуй-ка вырой двухметровую яму по такому морозу! Уж Мила-то знала, с какой неохотой поддаётся ленинградский грунт даже в июле и как щерятся из грязи его каменные зубы, которые натаскала сюда ВОДА? тысячи лет назад. Нет, копать сейчас - это ужасный, тяжёлый труд. Не зря так много мертвецов оставались лежать прямо на улицах.

А ближе к декабрю мама слегла. Сначала она ещё порывалась ходить в очередь, но громко в ней кашляла, чем тревожила людей. Потом, во время очередного налёта она упала в снег и долго потом не могла подняться, всё кашляла и кашляла, стоя на коленях. Пришлось им терять место в очереди и вести её домой. С тех пор Милетта ходила одна. Мама некоторое время ещё продолжала работать в больнице, но уже в палатах, на должности обычной сестры, где выносила и чистила за больными, но и там её надолго не хватило. Хлеба в доме сразу же стало меньше. Но самое сложное началось тогда, когда в доме от мороза и заторов разом лопнули почти все трубы. Теперь несколько раз в неделю Миле приходилось ходить за водой на Неву, к Горному институту. Там спуск - и прорубь, и снова очередь, и опять стой. На опоре - большой заламинированный плакат "НАБРАЛ ВОДУ - ПОДОЖДИ! ПОМОГИ КОМУ-НИБУДЬ ВЫЛЕЗТИ!" Люди помогают друг другу, но всё равно иногда оскальзываются, падают. Вода течёт с саней и корыт на утопанный валенками да калошами снег, и тот превращается в ледяную горку. Падать страшно - не дай бог поломаешься. Кто же тогда будет ходить за едой маме? Как она тогда будет? Поэтому - молчишь, цепляешься и тащишь. Удивительно, но Мила ни разу не упала. Сама она думала, что это потому как она сознательная. Другие шли, волоча ноги, а она такого себе не позволяла. Не тогда, когда поднималась с драгоценной водой.

Иногда им с мамой удавалось добыть дополнительный продовольственный талон, как, например, сегодня. Вчера в обеде мама узнала от заходящей к ней иногда дворничихи, что в больнице о ней спрашивались, и хотела было опять туда пойти - но не смогла даже подняться: ноги опухли. Тогда вместо неё пошла Милетта. Пока шла - боялась, что придётся долго объяснять, почему она пришла за маму и просить войти в положение - но там только спросили фамилию, записали в бланк - и тут же отправили разбирать вещи. Это была лёгкая работа, да к тому же в тёплом почти помещении. Нужно было отделять то, что ещё могло послужить - от ветоши и совсем уж рванья.

Одежду приносили в скатертях или простынях, связанных по углам. Там были и откровенно нищенские лохмотья, и прекрасные блузы, шёлковые шарфы и даже иногда парики с блондинистыми волосами. Повсюду среди одежды ползали толстые белые вши. Одна из работниц сказала, что вши эти трупные, что на людях они обычно не живут, но вот на умирающих от голода их полно, потому как вроде бы кожа мёртвая становится. После пяти часов на этой работе её освободили и разрешили идти получать положенную крупу - но крупы, как на зло не оказалось, и Миле тогда велели приходить на следующий день, после обеда. Шла домой она тяжело, иногда почти засыпая на ходу - монотонная работа в тепле разморила девушку. Но зато она забыла думать о голоде и бомбёжках, и на некоторое время будто вернулась в зиму сорокового. когда всё было по-другому, мирно и спокойно, и трупные вши на живых людях не водились.

Сегодня же с утра Милетта уже успела получить норму хлеба за себя и за маму, принести его в квартиру, затем сходить на прорубь к Горному, наполнить флягу и дотащить её на саночках, после чего оставить санки в дворницкой, поднять флягу вверх по кручёной лестнице, налить половину семилитровой кастрюли, поднять её на плитку, прикрученную прямо к буржуйке, бросить в воду черничника, затем нарезать маме хлеб тонко-тонко, намазать кусочки горчицей погуще - и покормить. Сама почти

не ела - знала, что если поест - то тут же и уснёт. Оставила на вечер - к крупе, которую должны были выдать в больнице сразу за два дня. Как пришла - её опять отправили в ту же комнату, но теперь там была уже обувь, которую тоже надо было разобрать, вынуть шнурки и стельки, разложить по размерам и отдельно отобрать зимнюю, которой здесь было удивительно мало. В обуви никаких вшей не было, однако пахла она гораздо хуже, будто бы её только что сняли с ноги. Ближе к вечеру её хотели было отправлять домой, но тут уж Мила потребовала дать ей хоть какой-то еды. Старшая сестра, незнакомая, с заметными отёками кистей и лица, посоветовала пойти к главному врачу Пушенко - тот должен был выдать талоны. Мила и пошла.

Главврач принял её в своём кабинете, в котором пахло ужасно знакомо, аппетитно и сладко - копчёным мясом. Пушенко услышал, что она дочь Макаровой - и сказал, что сейчас у них крупы нет, но есть талоны, которые остались от недавно скончавшихся. Оказывается - иногда люди умирали от голода, а в кармане у них находились продуктовые талоны. То ли у них не оставалось сил, то ли просто в какой-то момент слишком резко приходила к ним беда. Такие талоны под роспись хранились в сейфе его кабинета, из которого главврач и достал их для Милы - неразрезанные, одной бумажкой, целых четыре штуки. Мила подумала, что кто-то получил, может, на семью, да не донёс, и это ужасно её огорчило - но талоны она всё равно приняла и поблагодарила Пушенко, назвав Семёном Владимировичем. И в этот момент за ширмой вдруг завожилось, закричало, а потом занавеска отодвинулась, открыв небольшой закуток с кроватью, застеленной белоснежной простыней - и оттуда выглянул упитанный мальчик лет десяти. Он сидел на кровати, в маечке и трусиках, с интересом разглядывая Милу - и ел кусок копчёной колбасы, неспешно и даже лениво откусывая от лоснящегося края. Мила не могла оторвать взгляда от этой картины - ей невероятно было видеть и колбасу, и толстого ребёнка. Это будто бы и не ленинградец был - невероятно было наблюдать такое упитанное лицо, такие румяные щёки и такие розовые пальцы на живом человеке, а не на картинах.

Пушенко тут же засмутился, вскочил из-за стола и хотел было задёрнуть занавеску. но потом, смутившись, лишь немного поправил её и начал что-то объяснять прямо в больничную стену, как будто бы ни к кому конкретно не обращаясь. Мила краем уха слушала про то, что сын Пушенко очень болел, что вот пришлось его прямо в кабинете положить, а колбаса - это благодарность от пациента, они иногда благодарят, а ему совесть не позволяет принять, но вот ребёнок - ребёнок ведь святое, правда?. А так - они с ним питаются по таким же талонам, ни больше, ни меньше. Сама же Мила смотрела на мальчика и почему-то не чувствовала ничего, кроме отстранённой жалости ко всему человечеству разом. Будто бы она и другие ленинградцы уже умерли, а теперь вдруг Мила встретилась с живым человеком - и настолько он был на них не похож, что жалко было сразу всех, и тех, кто голодал, и тех, кто от голода ещё прятался, не зная, что голод - тётка терпеливая, и заберётся в итоге в каждое окно, усядется на каждом подоконнике и будет глядеть сквозь окна, стёкла, сквозь фанеру и решётки, как ты лежишь среди ночи на сырой постели и никак не можешь заснуть.

В итоге - Пушенко почти на руках вытащил Милу в коридор и закрыл за ней дверь на ключ. Мила спустилась вниз, вышла в тёмную морозную улицу да так и побрела, зажав талоны в руке - её немного даже покачивало и, кажется, тошнило. Запах колбасы пробудил аппетит, и теперь желудок болел, переваривая сам себя. Она вышла на

12-ую линию, постояла, вспоминая, а куда это она идёт - и только потом засунула талоны в карман пальто, помотала головой, будто просыпаясь - и направилась в сторону исполкома на Смоленке. Говорят, там по продуктовым талонам можно было получить овощей. А если нет - то постарается выменять их там же на хлеб или ту же крупу, чаще всего перловую, но иногда появлялась и овсяная, и даже, говорят, манка. В крайнем случае - можно дойти до рынка и поменяться там на конину, но это уже страшно. Уже не по слухам, а по достоверным источникам, то есть по сведениям из районов милиции, сообщали, что на рынке кое-где появилось достаточно колбасы, холодца и тому подобного, изготовленного из человеческого мяса. Рассудок Милы не понимал этого, но охотно верил - люди дошли до предела и становились способны на все. Так что, на рынок идти жуть как не хотелось, да и огромные мужики-татары с надутыми от студней да костных бульонов животами доверия ей не внушали.

Милетта уже почти дошагала до моста, когда в неё вдруг вцепилась какая-то старуха.

- Девушка! Доведи! Туда вот, там живу, - она потянула Милетту за рукав так сильно, что пальто разошлось на груди - пуговица лопнула и полетела в снег. Девушка сначала по комсомольской привычке повернулась к старушке, пошла за ней - но потом как током ударило. Что же я делаю? Она ведь меня совсем в другую сторону тащит!

- Уйдите! - тихо сказала Милетта и попыталась освободить руку.

- Помоги, дочка! - застонала старуха. Лица её почти не было видно - скрылось под серым шарфом, только торчал из шерсти серый, обветренный нос да дрожала рябая челюсть. - Умру же по дороге!

- Зачем вы вообще сюда пришли! - Мила посмотрела по сторонам. - Здесь иногда красноармейцы ходят, надо их подождать, а то я не справлюсь...

- Не надо мне их! - запричитала старуха. - Они меня бьют постоянно!. А ты - доведи! Не бери грех на душу!

Милетта повернулась к ней с удивлённым взглядом - как это красноармейцы её бьют? Зачем же они бьют, за что? Что несёт эта старуха? И в этот же момент почувствовала, как чужие пальцы шевелятся, копошатся в кармане пальто, вытягивая заветную бумажку.

- Ах вы! - Мила не нашла слов, чтобы выразить своё негодование и уже сама вцепилась в старухину руку с зажатыми в ладони талонами.. - Что же вы делаете! Вы же крадёте!

Старуха молча, сердито толкнула девочку в грудь - и Мила не удержалась, упав на прямо на копчик. Замёрзшее тело не успело среагировать и смягчить удар. Вскрикнув и почувствовав нарастающую злость, она поднялась на ноги, догнала ковыляющую старуху - и рывком сорвала с неё платок. Старуха под платком оказалась совсем лысая.

- Отдайте талоны! У меня мать дома лежит! Она же умрёт!

- Туда и дорога! - Старуха замахнулась на неё рукой, стараясь отпугнуть - но Мила уже не испугалась. Без платка старуха казалась жалкой, а не страшной. Мила повалила её на землю, попыталась вывернуть руку - но хитрая старуха умудрилась поднести ладонь ко рту и быстро сжевала все украденные талоны.

- Да что же это... Что же... - Мила поднялась на дрожащие ноги. - Как вы так?

- Сдристни, курва, - сказала вдруг старуха хриплым голосом уголовницы и улыбнулась. - Уйдёшь - я их из горла достану и хлеб получу. А ты сдохнешь. За то, что старухе не помогла. Сама виноватая. А нечо грешить.

Хотелось её ударить - но Мила не стала. Не знала она, куда и как бить лежащую старуху. Немного постояв, она разжала кулаки - и медленно двинулась обратно. Старуха вскочила, натянула платок - и понеслась куда-то прочь, юркнула за дом, и от соседней парадной сразу же отделились две мужских фигуры и бросились за ней. Мила не поняла, сообщники то её были, или же другие уголовники, решившие отобрать у старухи сворованное.

Поднималась метель. Мимо проползли санки с дровами - их тащили две девочки, одна другой меньше. На Милу даже не посмотрели. Сразу за ними мужчина вёз на таких же санях трупы - сам без шапки, с открытым ртом и безучастным выражением лица. На санках лежала женщина, её рука волочилась по снегу. Мила сказала мужчине об этом, тот остановился, поднял хрустнувшую на морозе руку - и спрятал её под мешковину, да так и остался стоять. Мила потом поворачивалась, уже далеко когда отошла - а он всё стоял, безучастно глядя на тело, прикрытое мешковиной.

Ей вдруг стало жутко - как она теперь придёт домой? Как скажет матери, что какая-та старуха отобрала у неё все талоны? А может, надо было всё-таки дойти обратно до Пушенко, объяснить ему ситуацию? Может, он бы поверил? Или - подождать, пока старуха вытащит талоны из своего нутра, а потом - наброситься на неё, да хотя бы с вот этим вот камнем...

Внезапно стало плохо - разом и снизу вверх. Сначала подкосились ноги - а когда она, остановившись, взялась за стену дома, чтобы устоять - стало дурно во всём теле, и её вырвало желчью. Мир закрутился вокруг макушки, в глазах потемнело. Подняв глаза. Мила увидела табличку прямо над своей головой - "Эта сторона улицы наиболее опасна при...", - а дальше всё заиндевелось, белая пудра совершенно скрыла остатки надписи. Мила смотрела и смотрела на табличку, пока мир вокруг неё не перестал кружиться - а затем оттолкнулась ладошкой от стены и пошла понемножку, перебирая ногами и шелестя плечом по стене. Прошла один дом, второй, третий. Идти было недолго - каких-то домов пять. Но вот она прошла уже семь. Подняла голову, осмотрелась - и поняла, что заблудилась. То ли не заметила, как, держась за стенку, повернула за угол - то ли в метели перепутала направление, но теперь она была в "мёртвом" городе.

Этот город не существовал отдельно от остального Ленинграда и не был заключён в какие-то физические рамки. Он занимал то же самое место в мире, что и Ленинград -

жил внутри него, как паразит в ране, разрастался, как опухоль, захватывая всё новые здания, площади и участки. Это был вымерший, сгоревший или разбитый бомбами город - почерневшие остовы домов, которые просвечивали насквозь, с заваленными камнями улицами и окончательно вымерзшими квартирами, занесёнными снегом по самое колено. Днём здесь ещё были люди - рылись в обломках, доставали иногда кожаные сандалии или ремни, которые потом вываривали в студень. Но вместе с темнотой с неба спускался и мороз, и тогда разбитые бомбами улицы окончательно вымирали.

Милетта обернулась - и посмотрела туда, откуда она пришла. Улица уже тонула в тенях, тёмный город не хотел подавать ей знака - да и никому другому. Хорошо, что снега давно не падало - иначе бы следы уже совсем замело. Мила вновь склонилась, держась за стену, аккуратно повернулась, сделала несколько маленьких шагов и тут же её колени подкосились и она рухнула прямо в снег, вскрикнув от боли. Лодыжка её запульсировала, отдаваясь толчками крови в голове. Мила всхлипнула и, подумав, что она окончательно сломалась, посмотрела вверх, на небо, в котором уже проступали звёзды. Неужели - всё? Вот так, глупо - замёрзнуть в переулке, совсем недалеко от дома, где тепло, где хлеб, где мама? Неужели так и будет? Неужели никто не...

И тут она увидела яркий, короткий отблеск в разбитом взрывами доме - на третьем этаже отодвинулась на секунду занавеска и появилась яркая жёлтая щель, в которой застыл высокий тёмный силуэт, а затем - вновь темнота. Но Мила уже поднималась на ноги, забыв про боль и заспешила к парадной, подволакивая ногу. Кто бы это ни был - она уприсит его пустить, на коленях умолять будет, чтобы пустил. Согреется, отсидится, узнает у жильца, где она - а там и домой не так страшно будет идти.

Спасена. Спа-се-на, - щёлкало в её голове метрономом, когда она пробиралась в парадную, где давно уже взрывом выбило двери, пока пробиралась через наметённые сугробы к ступеням и затем - пока шла по заснеженной лестнице, в разбитые окна которой смотрела огромная полная луна. Добралась до двери на третьем этаже, и застучала, бездумно повторяя ритм из головы: раз-два-три, раз-два-три. Спа-се-на, спа-се-на.

Тишина. Мила застучала сильнее - но без толку. Отстранённо подумала, что ноги уже не чувствуют холода, и что так даже лучше, теперь уж и не больно. Подумала - а вдруг ошиблась, вдруг она просчиталась, когда глядела вверх? Вдруг свет горел в окне повыше - на четвёртом или даже на пятом? Или, что ещё хуже - вдруг она совсем ошиблась, навоображала себе горящее окно в мёртвом городе, а это просто отразился лунный свет на осколках стекла?

От этих мыслей ноги снова подкосились - и она осела, прислонившись к закрытой двери. Разлилось по телу ледяное, отстранённое безразличие. Отчего-то стала рассматривать ступени под своими ногами, стёртые ближе к середине - и подумала, а сколько разных ног помнят эти ступени? Сколько из людей, что ходили по этой лестнице ещё живы? Или все уже дошли туда, куда всю жизнь по ней шагали и теперь уже совершенно недвижимы? Как те, под мостом. Вздогнула, вспомнив того страшного мальчика - вдруг представилось, что он здесь, на верхнем пролёте, смотрит на неё сверху вниз, из темноты, ждёт, пока она заснёт - а тогда подойдёт, наклонится и

прижмётся к её лицу своей холодной щекой, заглянет в глаза ледяным своим, закатившимся глазом...

Когда чьи-то холодные руки коснулись её плеча, Мила даже не вздрогнула. Лишь прикрыла глаза и выдохнула. Зима, Ленинград и жадные до крови немцы в летающих стальных пулемётах остались где-то далеко позади, в глубоком ленинградском снегу, а она расслабилась, вытянула ноги и уплыла в обволакивающее её тепло.